

Мы и Сверх-Мы: вычленение метафизического субъекта

Если внимательнее присмотреться к знакомой нам фразе: «Партия исходит из того, что партийный аппарат и партийные массы составляют единое целое», — то нетрудно будет обнаружить замечательнейший нюанс, проливающий свет на подлинную уникальность сталинского мышления. В апофеоз аппаратно-народного двуединства исподволь привнесен некий третий, главенствующий элемент, — а именно, «партия» как таковая, чем-то отличающаяся, наверное, и от аппарата, и от собственных своих масс. Это столь же неуловимая, сколь могущественная абстракция, которая витает, подобно божественному арбитру, над обеими своими составными. Ближе всего к ее сущности стоит, очевидно, понятие «единое целое», но и здесь нет полной тождественности — ибо партия эту свою целостность оценивает тоже как бы извне, словно отвлекаясь от себя самой. С похожей двусмысленной мы уже соприкасались на материале сталинской демагогии относительно «беспартийных организаций» и «всей массы» пролетариата, отделяющих партию от класса в целом. Где тут сам этот целостный класс?

Под таким углом стоит заново обратиться к соотношению понятий «мы» и «партия». Заканчивая отчетный доклад на XV съезде обычными ритуальными лозунгами, Сталин, среди прочего, объявил:

«Трудности будут. Но мы их преодолеем, как преодолевали до сих пор, ибо мы — большевики, выкованные железной партией Ленина».

Сквозь эту, казалось бы, заурядную сталинскую тавтологию сквозит чисто метафизическая дихотомия, идущая от «энтелехии» Аристотеля: дихотомия между органической целостностью и простой совокупностью элементов. Оказывается, партия — как отвлеченное субстанциальное единство — «выковывает» именно тех, из кого она состоит, т. е. самое себя. Партия одновременно имманентна и трансцендентна сообществу большевиков, тождественна и внеположна ему. Ср. в более ранней сталинской речи — на XIII съезде:

«Основное в чистке — это то, что люди такого сорта [провинившиеся. — *М. В.*] чувствуют, что *есть хозяин, есть партия*, которая может потребовать отчета за грехи *против партии*. Я думаю, что иногда, время от времени, *пойти к хозяину по рядам партии* с метлой обязательно следовало бы». (*Аплодисменты*).

Примечательна уже концовка первой из двух этих фраз: «против партии», а не против себя, что выглядело бы более естественным. Но повтором прикрыт семантический сдвиг. В тавтологической, вроде бы, конструкции партия латентно раздваивается — на себя самое как активный субъект («хозяин») и пассивный объект действия. Так что, признаться, я не совсем понимаю, чему, собственно, аплодируют участники съезда. Тому что партия — в целом — как-то загадочно «хозяйни-

чает» над всеми, кто входит в ее состав? И что означает тогда другая льстивая фраза — о партии как хозяйине, подметающем «ряды партии»? Ведь такой «хозяин» должен заведомо находиться вне этих самых рядов, занимать по отношению к ним некую обособленную, наружную позицию. Вероятно, делегатов зачаровала комплиментарность и мнимая простота, иллюзорная ясность сталинской элоквенции.

Итак, в партии вычленяется нечто вроде отвлеченного духа охранительной целокупности, субстанциальный сакральный субъект, равный и одновременно внеположный самому себе как эмпирическому скоплению личностей.

Вовсе не Сталин изобрел «паулинистскую» интерпретацию РКП как церкви и целостного организма, но именно он сообщил ей столь заостренно-метафизическое выражение, проглядывающее, например, уже в заметке 1921 года «Партия до и после взятия власти», где он рассуждает о начальной фазе партийного строительства. Партия вновь распадается — на субъект и объект попечения:

«Центром внимания и забот партии [субъект] в этот период является сама партия [объект], ее существование, ее сохранение. Партия рассматривается в этот период как некая самодовлеющая сила».

Кем — «рассматривается»? Да, конечно, самой же партией, напоминающей здесь мистико-биологическую *Artseele* или то, что специалисты по экологии называют иногда «гением популяции», пекущимся о выживании последней. Все же Сталин поначалу ощущал, видимо, какое-то неудобство, связанное с ноуменальным инобытием партии, и через несколько строк обратился к другому, правда, еще более абстрактному, гению-хранителю:

«Основная задача коммунизма в России в этот период — вербовать в партию лучших людей <...> поставить на ноги партию пролетариата»²³.

Сходную мистическую роль могут выполнять и прочие абстракции — например, советский народ, который, кстати, вообще легко раздваивается у Сталина сообразно его насущным пропагандистским потребностям. Напомню цитату из «Краткого курса»: «Советский народ приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу. НКВД привел приговор в исполнение. Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкистской банды и перешел к очередным делам». Очевидно, советский народ в первом своем образе — как коллективный судья, действующий посредством карательного аппарата, — отличается от того народа, который лишь пассивно одобряет эту кару.

В конструкциях такого рода потусторонний наставник, «коммунизм», «народ» или его столь же надмирные и всегда персонифицированные аналоги неизбежно выказывают фамильные приметы все той же органической энтелехии, либо метафизического начала, статичной парадигмы, управляющей бесконечно изменчивой повседневной жизнью. Это недвижимое русло коварного диалектического потока — та именно школьно-богословская «основа основ», к всевозможным заменителям которой в риторических видах постоянно прибегает Сталин.

Теоретическая жесткость базового сакрального абсолюта — или, лучше сказать, сталинской веры в его наличие — прямо пропорциональна неудержимой текучести его протеистических проявлений, предельная статика отвечает предельной динамике²⁴. «Необходимо, — говорит он, — чтобы партия умела сочетать в своей работе непримиримую революционность... с максимумом гибкости и маневреспособности». На уровне стиля такой стратегической двупланности изофункциональна повсеместная особенность сталинской метафорики — синкретизм статики и движения: «Наша партия *стояла*, как утес <...> *ведя* рабочий класс вперед, к победе», и т. п. И всегдашней особенностью Сталина будет это соединение алтарного догматизма с невероятной тактической изворотливостью, трупной застылостью — с истинно нечеловеческой живостью особого, богомольного упыря.

Иное дело, что под мощным влиянием этого циничного диалектического ре-

лятивизма любые конкретные кандидаты на должность абсолюта — Маркс, Энгельс, Ленин, рабочий класс, политбюро, партия — у Сталина постоянно меняют значение и пропорции, взаимоограничиваются. Если бы он стал священником, то начал бы интриговать против лиц св. Троицы, мысленно срамливая их между собой. Сюда нужно прибавить крайне важный для него — вопреки марксистским укоризнам Камерона — постулат о встречном воздействии практики (ленинский «критерий истины»), живого дела или, как он часто пишет, «реальной жизни» на ту или иную идеологическую святыню, вносящий в нее пригодные Сталину коррективы (хотя при желании он может отвергать практику как раз за ее несоответствие теории).

В бурлении тактических хитростей и борьбы за власть контуры верховной истины, ее концептические круги неуклонно сужаются вокруг сталинского «мы», подчиняющего себе ту самую «партию», с которой оно вроде бы отождествлялось. Перечисляя на XIV съезде большевистские достижения, Сталин возгласил: «Мы укрепили партию». Анонимные «мы» суть члены той же самой партии, вернее, уже ее руководство, по отношению к которому она оценивается как производная и в чем-то внеположная ему масса, нуждающаяся в цементировании. Но бывает, что и это авторитарное «мы», в свою очередь, незаметно расслаивается, выделяя из себя таинственный остаток, сквозящий за внешне элементарной словесной конструкцией. Ср. в его речи 1937 года:

«Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифологии Антея».

Кому это — «нам»? Участникам пленума, т. е. самим же большевикам? Исходя из прямого смысла фразы, логичнее было бы заключить, что в данном случае «мы» — это как раз небольшие, которым большевики (взятые в третьем лице, т. е. «они») кого-то там напоминают. Разумеется, подобное толкование идеологически недопустимо, но ясно, тем не менее, что между обеими категориями партийцев есть какая-то чуть приметная, молчаливо подразумеваемая грань: «большевики» — это объект, а «мы» — субъект суждения. Однако здесь же раскладывается и сам этот (коллективный) субъект. Как главная, авторизованная его часть, «я», будучи всего лишь одним из «нас», претендует одновременно на некий обособленный — третий — статус: «я думаю, что они нам напоминают». В качестве сверхсубъекта «я» арбитражно возвышается и над «нами», и над «большевиками»²⁵.

Приведем другое, нарочито запутанное высказывание, пригодное для того, чтобы стать наглядным введением в сталинский дискурс:

«Партия, — говорит Троцкий, — не ошибается. Это неверно. Партия нередко ошибается. Ильич учил нас учить партию на ее ошибках. Если бы у партии не было ошибок, то не на чем было бы учить партию. Задача наша состоит в том, чтобы улавливать эти ошибки, вскрывать их корни и показывать партии и рабочему классу, как мы ошибались».

Кого, спрашивается, Ильич «учил учить» ошибающуюся партию, кто здесь авторитарное «мы»? Конечно, это руководство, неповинное в ошибках всей остальной «партии». К кому же тогда относится последующее обвинение в огрехах — «показать партии... как мы ошибались» — ко всей партии или все-таки к «нам» лично, т. е. к этим самым лидерам, кающимся перед кругом соратников? «Мы» снова то растягивается на всю партию, то сжимается до размеров сталинского ЦК. В любом случае совершенно ясно, что только это руководство, обученное Ильичем («мы»), сохраняет, в отличие от профанной публики, целительную прикосновенность к верховному мерилу истины — гаранту распознавания и исправления ошибок.

Партия, Ленин и ЦК у Сталина «неслиянны и нераздельны», как лица св. Троицы в определении Халкидонского собора. Он будет то идентифицироваться с любым из этих божеств, то расчетливо от него отстраняться, приобщаясь к смежному сакральному авторитету. В этой постоянной овнешненности взгляда прояв-

ляется его ошеломляющая способность к предательству, отступничеству, мгновенному отречению, получившая с годами столь эпохальное воплощение. И пусть в редуцированном виде, но та же диалектика неслиянности и нераздельности распространяется на его собственный «авторский» образ.